



Олег Юрьев

Писатель как сотоварищ по выживанию

статьи, эссе и очерки
о литературе и не только

Издательство Ивана Лимбаха

Олег Александрович Юрьев

Писатель как сотоварищ по выживанию

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51250171

*Писатель как сотоварищ по выживанию: Статьи, эссе и очерки о литературе и не только / Юрьев О. А.: Издательство Ивана Лимбаха; Санкт-Петербург; 2014
ISBN 978-5-89059-206-4*

Аннотация

В новой книге Олега Юрьева собраны тексты о литературе и эссе на грани прозы. Вошедшие в нее статьи «Одноклассники» и «Буратино русской поэзии: Сергей Нельдихен в Стране Дураков» были отмечены как лучшие публикации журнала «Новый мир» за 2013 год.

В фокусе зрения автора – скрытая, тайная, подавляемая доминирующей идеологией и эстетикой великая несуществующая литература XX века, которой он пытается вернуть существование: Тихон Чурилин, Павел Зальцман, Всеволод Петров, Борис Вахтин, Владимир Губин... Но его внимание привлекают и писатели на границе культур, на границе языков, будь то Владимир Набоков, Пауль Целан или Шолом-Алейхем. В последнем разделе представлены эссе, как бы

восстанавливающие время и место происхождения автора: 1970-е–1980-е годы прошлого века, Ленинград.

Олег Юрьев (р. 1959) – поэт, прозаик, драматург и эссеист, автор книг на русском и немецком языках. С 1991 года живет в Германии. В 2010 году удостоен премии имени Хильды Домин. По мнению членов жюри, его произведения соединяют в себе гротескный юмор Гоголя со смелостью петербургского авангарда.

Содержание

| | |
|--|----|
| I. Почти повести о русской литературе XX века | 5 |
| Излечение от гениальности: Тихон Чурилин – лебедь и Лебядкин | 5 |
| 1. Двадцать лет ожидания | 5 |
| 2. Лебедянский лебеденок | 9 |
| 3. Смерть перед весной и весна после смерти | 13 |
| 4. Как пахали мозги | 20 |
| 5. «Тебе, народ, хвала от Маркса...» | 28 |
| 6. (Само)исцеленный | 36 |
| 7. И последнее | 38 |
| Буратино русской поэзии: Сергей Нельдихен в Стране Дураков | 40 |
| 1. Немного о Нельдихене, 1891 г. р., русском, из интеллигентов | 40 |
| 2. Немного о дураках | 43 |
| 3. Двойное прорицание Гумилева (отступление) | 48 |
| 4. Судьба дурака | 53 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 57 |

Олег Юрьев
Писатель как сотоварищ
по выживанию.

Статьи, эссе и очерки о
литературе и не только

I. Почти повести о русской
литературе XX века

Излечение от гениальности: Тихон
Чурилин – лебедь и Лебядкин

1. Двадцать лет ожидания

В середине 1980-х годов попала мне в руки легендарная «Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней» (М., 1925), именуемая в литературном обиходе попросту «Ежов и Шамурин» – по именам

составителей¹. Уже не помню, каким точно образом она попала в эти дрожащие от счастья руки – скорее всего, дал кто-нибудь из приятелей, на пару дней и по секрету от родителей. Такие книги обычно из дому не выносились – чересчур редки и чересчур нужны. В «Ежове и Шамурине» разыскивались имена и стихи, далеко выходящие за пределы не только школьной или университетской программы, но и джентльменского набора совинтеллигента (Волошин, да Гумилев, да – в хорошем случае – Цветаева и Кузмин, да – в самом лучшем – Ходасевич), усердно размножаемого просвещенными инженерами на личных и служебных пишмашинках, а то и на множительной технике номерных НИИ (нелегально, конечно, – отсинили, отэрили, отксерили – нету больше таких слов!).

В антологии было много всего увлекательного, но двенадцать стихотворений некоего Тихона Чурилина меня ошеломили – совсем неизвестные мне стихи самого высшего качества! Позже к ним, к ошеломляющим, присоединились 13-е и 14-е – два стихотворения о «немецком принце», впервые, кажется, опубликованные в ленинградском самиздате.

¹ Сейчас у меня на руках факсимильное издание – М.: АМИРУС, 1991, существуют, вероятно, и другие. Предисловие начальника Главлита и создателя советской цензуры, а по совместительству первого советского литкритика Валерьяна Полянского-Лебедева с попытками марксистского объяснения тенденций и «социальных корней» русской поэзии первой четверти века вполне несущественно, а вот непосредственные составители, тт. Ежов и Шамурин, проявили незаурядную, какую-то почти лунатическую уверенность при отборе стихов и авторов.

ском журнале «Сумерки» (№ 14, 1992)². Не устаю, кстати, твердить о значении «Сумерек» в истории новейшей русской литературы – собственно, полную их подшивку давно бы следовало издать в серии «Литературные памятники». Вот с тех пор, с 1992 года, я и начал ждать «полного Чурилина», предвкушая новые великие стихи, потому что как минимум «Конец Кикапу», «Конец клерка» и «Военные стихи» («Приезд принца» и «Смерть принца») – это, несомненно, великие русские стихи.

Почему на издание Чурилина потребовалось двадцать лет, остается для меня загадкой. В литературно-издательской России люди, как правило, живут так, будто собираются жить вечно. А умирают рано. Если это объяснение, то очень печальное. Ну да ладно: вот они, эти двадцать лет, усвистали как не бывало, и стихи Чурилина наконец-то вышли³. И я вовремя оказался в солнечной и сыплющей мелким необидным дождиком мартовской Москве и обзавелся элегантно изданным двухтомником.

К «высшему слою» стихов Чурилина, к двенадцати стихо-

² Не считая, разумеется, ходившего в тех же бледных копиях очерка Цветаевой о Наталье Гончаровой, где приводится одно из этих стихотворений, «Смерть принца». Я этот очерк, конечно, читал раньше «Сумерек», но Чурилин у меня по нему почему-то не запомнился. Там, кстати, не принц, а прынц, что (еще) лучше. Цветаева, однако, цитировала по памяти; вероятно, рукописи «ы» не подтверждают, иначе бы оно появилось и в других публикациях (которые и сами не без разночтений).

³ Чурилин Т. В. Стихотворения и поэмы: В 2 тт. / Сост., подгот. текстов и коммент. Д. Безносова и А. Мирзаева. М.: Гилея, 2012.

творениям «Ежова и Шамурина» и двум «принцам» долгожданное это издание прибавило пусть не слишком многое, но кое-что всё же прибавило. Собственно, еще несколько стихотворений из первой и лучшей книжки Чурилина «Весна после смерти» и, как это ни странно, некоторые стихи 1930-х годов, которые – и вполне справедливо! – считаются временем падения Чурилина как поэта и перехода его – что как раз не вполне справедливо! – на «рельсы советской поэзии», о чем мы еще будем говорить, поскольку процессы, происходившие с таким отдельным и ни на кого не похожим человеком, как Чурилин, отчетливо и показательно иллюстрируют процессы, происходившие если не со всеми, то со многими представителями «старой литературы» в «новом мире».

Чтобы покончить с этим сразу же – пять, шесть, может быть, десять стихотворений Чурилина несомненно (для меня) находятся в том отделении рая, где живут великие русские стихи вне зависимости от того, кто их написал⁴. Просто прекрасных и замечательных стихотворений, строф и строк нашлось совсем не мало, собственно, даже много! Но полный корпус стихов Чурилина не позволяет найти ему «активное» место в исторической системе русской лирики XX века. Он остался «пассивным» получателем внешнелитера-

⁴ Пестрое, должно быть, общество – все стихи Пушкина и одно Вильгельма Зоргенфрея («На Неве»), половина стихов Тютчева и треть Блока... Интересно, есть ли там кто-нибудь (несомненно, в своем собственном раю стихи приобретают сознание, а с ним и грамматическую одушевленность), кого мы еще не знаем?

турных импульсов, иногда превращаемых его глубокой человеческой необычностью и особым ритмическим даром в шедевры, однако же в шедевры, никуда и ни к кому не ведущие⁵. В смысле же истории русской культуры из чурилинской биографии и общего корпуса его сочинений следует как раз много интересных и важных, хотя по большей части и печальных вещей.

2. Лебедянский лебеденок

Итак, Тихон Васильевич Чурилин рожден в 1885 году в уездном городе Лебедянь Тамбовской губернии, на Дону, неподалеку (около 50 км) от Липецка. Звучит страшновато (захолустье, бескультурье...), но пугаться не следует. Городок был богатый, купеческий, ярмарочный, но просвещенно-купеческий, склонный к прогрессу, в основном аграрно-му и техническому. Центр коннозаводства и сельскохозяйственных наук, с гимназиями и училищами, с ипподромом и построенным в 1910 году первым в России бетонным мостом. И конечно же, со старинными монастырями и соборами. Еще и сейчас Лебедянь, по всему судя, чудесна и не прекращает порождать чудесных людей, вроде описанных в

⁵ Это высказывание как бы с открытым будущим: невозможно исключить, что в результате массированного издания Чурилина в наши дни (помимо уже выпущенных книг, в «Гилее» готовится к выходу биографический или, лучше сказать, биографически-мифологический роман «Тяпкатань»), он вдруг начнет воздействовать на «текущую литературу». Так бывает. Редко – но бывает.

«Уездном» лебедянского уроженца Е. И. Замятина:

Я до сих пор помню неповторимых чудаков, которые выросли из этого чернозема: полковника, кулинарного Рафаэля, который собственноручно стряпал гениальные кушанья; священника, который писал трактат о домашнем быте дьяволов; почтмейстера, который обучал всех языку эсперанто и был уверен, что на Венере – жители Венеры – тоже говорят на эсперанто...

Достаточно вспомнить Леонида Владимировича Мулярчика, с 1989-го по 2012 год строившего в Лебедяни свое личное метро. В 2012-м Мулярчик, к несчастью, умер, и его метрополитен, к несчастью, засыпали. Но городок явно по-прежнему замечательный.

Хуже обстояло дело с семьей, где Чурилину выпало родиться. Совсем нехорошо обстояло! Семья была богатого кабатчика (купец второй гильдии, это немало!) Василия Ивановича Чурилина, но отцом ребенка был не он, а местный еврей-провизор Тицнер. Мать-красавицу Александру Васильевну спившийся кабатчик, импотент-сифилитик, замучал-затерзал, пустил по рукам, превратил в нимфоманку, заразил сифилисом и, в сущности, убил. Всё это со слов самого Тихона Чурилина – в попытках автобиографий и в романе «Тяпкатань», над которым он работал во второй половине 1930-х годов. Надо полагать, взгляд со стороны

несколько изменил бы эту картину, жестко определившую жизнь и личность – а лучше: личность и жизнь – Тихона Чурилина, такое уж у них, у взглядов со стороны, свойство⁶, но для нас сейчас существенно только то, как сам Чурилин всё это видел. Тицнера он считал предателем и совинновником в судьбе матери и своей собственной, еврейское до последних лет жизни было для него чем-то одновременно притягательным и отталкивающим, прекрасным и отвратительным, своим и чужим⁷, но до юдофобии, в подобных случаях нередкой, он не опускался. В одной анкете он именует себя Тихоном Тицнером (в скобках). Интересно, знал ли он о судьбе перебравшегося в Орск и открывшего там аптеку отца-провизора? – в 1918 году тот был расстрелян большевиками за отказ подчиниться указу о национализации аптечных и медицинских учреждений.

Мать умерла в 1894 году, в том же году Тихон поступил в лебедянскую мужскую прогимназию (где учился и Замятин). Играл в любительских спектаклях, выступал на литературных вечерах, участвовал в Музыкальном драматическом об-

⁶ В вышеупомянутой повести Замятина «Уездное» и трактир чурилинский подробно показан, и сам кабатчик (личность действительно малопривлекательная!), но «взгляда со стороны» на эту страшную историю там все-таки нет.

⁷ «Родился в Лебедяни, Тамбовской губернии (там родились для Москвы, Ленинграда и Европы: Замятин Евг. Ив., Игумнов Конст. Ник. (пианист), Чурилин Т. В. (поэт, переводчик, критик, теоретик). В мае 1885 г. 17.30.[7] числа. По закону – сын купца, водочника-складчика-трактирщика. По факту – сын провизора, служащего, еврея, незаконнорожденный, выbleднок. С детства дразнили: жид, Александрыч, у-у-у!!!»

честве – в общем, вел жизнь культурного провинциального юноши. В 1904 году порвал с отчимом и уехал в Саратов, откуда перебрался в Москву, где с перерывами (на поездку за границу в 1908–1909 годах и на житье в Крыму с 1916-го и по 1922-й) прожил всю жизнь. Слушал курсы в Коммерческом институте, публиковал стихи (с 1908 года), но уже, вероятно, подкрадывалась, ходила рядом душевная болезнь, в которой он – и, вероятно, не без оснований – винил семейную историю и свое принципиально пограничное, безместное, «ублюдочное» положение в мире – положение человека с чужим именем.

Постоянные упоминания Чурилиным некоей «революционной работы» и участия в «подпольных организациях» без предъявления документальных доказательств обсуждать не приходится – в этом же роде пытались украсить свою биографию почти все люди старой культуры в новом мире, даже Андрей Белый в поздних воспоминаниях изображает себя чуть ли не сознательным большевиком-ленинцем. Никому это «обратное житнетворчество» особо не помогло, но следует понимать, что в большинстве случаев важнее было вписать себя в «новое общество», обосновать историческую к нему принадлежность, убедить – в первую очередь себя самого: ты здесь не чужой, не изгой. При массовом распространении разного рода «противуправительственных» кружков в начале XX века прикосновенность к ним не была какой-то особой редкостью, но деятельность «подпольщика» –

это, конечно, нечто другое.

В 1908 году Чурилин уехал за границу. Вернулся в 1909-м, был вызван в охранное отделение (вероятно, в рутинном порядке, власть нервничала после «революции 5-го года»), где повел себя таким образом, что следователь отправил его в психиатрическую больницу.

3. Смерть перед весной и весна после смерти

Диагноз: мания преследования. В больнице Чурилин пробыл, с его слов, до 1912 года. Не совсем ясно, как эти сведения сочетаются с результатами полицейского расследования по устному доносу некоего «дворянина Скуратова» (июнь 1913 года). Дворянин Скуратов, также содержащийся в Преображенской больнице, сообщал, что пациент Чурилин и старший доктор Н. Н. Боденов замышляют убийство московского генерал-губернатора. Телефонный звонок в лечебницу показал, что оба пациента, доносчик и его предмет, действительно существуют и пользуются правом свободного выхода в город. Дело было прекращено. Собственно, и одно из стихотворений книги Чурилина «Весна после смерти» датировано «1913: Преображ. больн.». В больнице Чурилин отказался принимать пищу, считается, что до конца пребывания его кормили через зонд.

Как бы там ни было, но три – три с половиной года скорб-

ного дома в личной чурилинской мифологии навсегда стали «смертью» – адом, несуществованием, адом несуществования. На эйфории выхода из больницы возникает «весна» – воскресение и если не рай, то жизнь. Из этой жизни он вглядывается в смерть, эйфория отображается не счастьем, а глубоким трагизмом. Но 1913–1916 годы, несомненно, лучшее время для Чурилина и для его поэзии. Он знакомится с новыми, важными для себя людьми – художниками Ларионовым и Гончаровой, с Хлебниковым, с Мариной Цветаевой и ее сестрой Анастасией, также написавшей о нем, хотя и позже старшей сестры:

...Черноволосый и не смуглый, нет – сожженный. Его зеленоватые, в кольцо темных воспаленных век, глаза казались черны, как ночь (а были зелено-серые). Его рот улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня... целую уж жизнь, и голос его был глух... И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес... Он... брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он всё понимал... рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике, городе Лебедяни...»⁸

⁸ Цветаева А. И. О Тихоне Чурилине. Цит. по электронному изданию: Чурилин Т. В. Конец Кикапу. Агатовый Ага (повести) / Комментар. С. Шаргородского.

На краткий роман Чурилина со старшей сестрой Анастасии Ивановны, как и на то, что она назвала его «гениальным», напирают почти все о Чурилине пишущие, так что не станем отвлекаться. Старшая Цветаева сказала о нем хорошо, без передержек, и гениален он и точно был, по крайней мере тогда, когда она его знала, весной 1916 года...

Книга Чурилина «Весна после смерти» вышла в издательстве «Альциона» (1915) в количестве 240 экземпляров (в продажу поступили 200) с иллюстрациями Натальи Гончаровой, и книга произвела впечатление! Если и была у Чурилина репутация в литературной среде, то основывалась она исключительно на «Весне после смерти».

Побрили Кикапу – в последний раз.
Помыли Кикапу – в последний раз.
С кровавою водою таз
И волосы, его.
Куда-с?
Ведь Вы сестра?
Побудьте с ним хоть до утра.
А где же Ра?
Побудьте с ним хоть до утра
Вы, обе,
Пока он не в гробе.
Но их уж нет и стерли след прохожие у двери.

Да, да, да, да, – их нет, поэт, – Елены, Ра и Мери.
Скривился Кикапу: в последний раз
Смеется Кикапу – в последний раз.
Возьмите же кровавый таз —
Ведь настезь обе двери.

(Конец Кикапу, 1914)

Эти стихи люди помнили наизусть многие десятилетия спустя. Многие десятилетия Чурилин был равен «Концу Кикапу». Высказывается иногда предположение, что стихотворение связано со случаем зарезавшегося на следующий день после свадьбы «молодого, двадцатидвухлетнего» эгофутуриста Ивана Игнатьева (1892–1914). Мне это предположение не кажется обоснованным: во-первых, в личной мифологии Чурилина Кикапу – это именно он сам, Чурилин, и есть, а во-вторых, из стихотворения очевидно, что помыли и побрили уже мертвого Кикапу (как и полагалось), пускай он «смеется» и «кривится» (с покойниками бывает), так что история с игнатьевским смертным бритьем сюда не лезет.

Казалось бы, «Весна после смерти» – это типичнейший символизм, идущий в первую очередь от Белого и Блока. Казалось бы, набор (тематически заметно суженный) маркирующих символизм интонаций, словоупотреблений и мотивов: смертные фантазии (из мэтров свойственные прежде всего Сологубу, но и вообще довольно распространенные, особенно во втором-третьем ряду), включая мотив ожившего мертвеца, существующий в поэзии русского модернизма еще со

времен Случевского, мрачно-восторженно-ироническая мистика. Но происходит чудо – благодаря заложенному в его слух и дыхание резкому ритмическому делению строки, в основном трехчленному (я бы сказал, благодаря его от природы глубоко цезурованному дыханию), интонация и ритмика этих стихов оказывается совершенно индивидуальной, ни на кого и ни на что не похожей. Это почувствовали и коллеги, книжка оказалась довольно широко отрецензированной. Сам Чурилин писал Н. С. Гумилеву: «...Много было рецензий, почти все „доброкачественные“, иногда пышно-дифирамбические, но слова сказали Вы одни. <...> Но разве о Поэзии только сказали Вы? О летописи Тайны, то есть то, что главное в моём творчестве...»⁹

Есть и другие причины (и признаки) этой глубокой своеобразности Чурилина, превращающей поданный извне стилистический материал в оригинальный звук и образ. Например, метрические и строфические структуры, смутно напоминающие о тропарях, кондаках, акафистах, с их унаследованным от древнегреческих стихов и пьес строфическим членением и разнообразным ритмическим устройством внутри строф и строк. Вероятно, эти структуры появляются у Чурилина как результат глубокого впечатления,

⁹ Цит. по публикации альманаха «Лица»: Чурилин Т. В. Встречи на моей дороге (вступительная статья, публикация и комментарии Н. Яковлевой) // Лица: Биографический альманах. Вып. 10. СПб.: Феникс; Дмитрий Буланин, 2004. С. 421–422. Смешно: Чурилин пишет акмеисту на пышно-символистском языке с заметным количеством заглавных букв.

произведенного на него церковной службой – ребенком он многие годы пел и прислуживал в церкви: его церковнославянизмы – устные, наслышанные, а не вычитанные. Любопытно, что лексические церковнославянизмы как таковые в «Весне после смерти» встречаются редко. Их пышное цветение у Чурилина некоторым (ложно-парадоксальным) образом приходится на «будетлянский» период. На его примере, кстати, показывается переход от символизма к футуризму как нечто, связанное прежде всего с внутренней санкцией на вложение в ритмические и фонетические формулы (проще говоря, в то, что беззвучно и бессловесно звучит и кружится в голове у поэта) дополнительного или вообще другого – взамен отработанного – лексического материала, а при необходимости (то есть при отсутствии подходящего слова) – новоизобретенных слов, в том числе и незначащих, заумных¹⁰. Впрочем, чистой зауми у Чурилина будет не много.

Последнее, о чем следует сказать применительно к «символистским» стихам Тихона Чурилина: притяжение к смерти, клубящийся в них мрак – соприроден ему, естественен.

¹⁰ То есть заумь с функционально-версификационной стороны – это что-то вроде «тарам-парам» в известном стихотворении Винни-Пуха / Заходера: «Кто ходит в гости по утрам, / Тот поступает мудро! / Известно всем, тарам-парам, / На то оно и утро...» – то есть словозаместитель. Спросят: а как же дыр бул щил и т. д.? Не знаю, в сознании Крученых я не бывал, но гипотетически могу предположить, что в подоснове знаменитого стихотворения был ритм, что-то вроде «Ночь светла, над рекой тихо светит луна...» (наблюдение О. Б. Мартыновой), наилучшим, с точки зрения автора, образом фонетически наполняемый именно этим набором звуков.

Это не литературный образ, не игра здоровенных, с аппетитом кушающих и выпивающих детей (как любили пошучивать враги «декадентства», и не только в России), а несомненно – внутренняя завороченность смертью, постоянная жизнь с нею. Не случайно лучшие стихи Чурилина – «Конец Кикапу», «Конец клерка», да и большинство хороших, вроде «Смерти в лифте» с ее мистикой возносящегося в небеса гроба, – носят эти сами за себя говорящие названия. Если просто на взгляд прикинуть долю стихотворений с «концами», «смертями», «гробами», «прóводами» и т. д. в названиях, то очень быстро понимаешь: «Весна после смерти» – это не книга о весне после смерти, а книга о смерти... пускай после смерти. Если и был в русской поэзии «поэт смерти», то это именно он, Тихон Чурилин первого, «символистского» периода!

В неизданной книге «Март младенец» (1915), разрабатывающей, хотя и в несколько разреженном виде, мотивы «Весны после смерти», обнаруживаются формальные элементы, которые на все последующие годы и десятилетия определяют версификационную технику (да и порождающие алгоритмы) чурилинского стихотворчества: чисто фонетические связи между словами, преимущественно между началами слов и преимущественно парами («Младенец март, роскошное рождение...»). Начинают появляться сложносоставные слова на манер в лучшем случае Вяч. Иванова («черночермный мой аннал»), а в худшем – Игоря Северянина («лилиеносный»),

да уже и намеки на церковнославянизмы, правда, пока в стихах с соответствующим интерьером – церковным или монастырским. Вторая книга далеко не так удачна, как первая, в том числе и потому, что отчасти автоматизирует ее темы и приемы, но в ней, как и в отдельных стихотворениях этого времени (к ним, напомним, относятся и «Военные стихи» про принца, и миницикл «Война», и забавно-страшная «Смерть беса»), есть выдающиеся стихи, строфы и строки. Стоит отметить тесно связанный со смертью мотив «страшной мацы» (Первый грех против марта – мертвею. / О, маца мертворожденная, страшно... «Первый грех»), сохраненный вплоть до стихов 1930-х годов.

4. Как пахали мозги

В мае 1916 года Чурилин перебирается в Крым, где остается до 1922 года. Здесь он знакомится со своей будущей женой, художницей Брониславой Корвин-Каменской, здесь завершается его переход в «будетлянство». Осенью 1917 года он участвует в «Вечере стихов и прозы», где исполняет как собственные сочинения, так и стихи Хлебникова, Бурлюка, Асеева, Парнок, Кузмина, Мандельштама – как видим, весь спектр «новой поэзии». В 1919–1920 годах, на «Вечерах поэзии будущего», организованных в Симферополе и Евпатории чурилинской «будетлянской ячейкой» с неправдоподобно нелепым названием «Молодые окраинные моз-

гопашцы», читались тексты Хлебникова, Петникова, Чурилина, Божидара, Асеева, Пастернака, Каменского – то есть только «своих». Когда в 1935 году Чурилин писал: «Был человек, в мире Велемир, / В схеме Предземшар с правом всепожара. / И над ним смеялись Осип Эмильич, / Николай Степаныч и прочая шмара...» («Песнь о Велемире»), это, конечно, никак не соответствовало исторической действительности – при всех его странностях Хлебникова в петербургской поэтической среде любили и ценили и, насколько я знаю, ни Гумилев (благодарственное письмо Чурилина по поводу рецензии на «Весну после смерти» мы еще не забыли), ни Мандельштам (который к середине 1930-х годов и сам сделался отъявленным хлебниковцем) его не обижали. Но это наглядно демонстрирует несколько сектантскую картину мира футуристских и постфутуристских группок, рассыпанных в первые пореволюционные годы по всей стране. Впрочем, в России почти всё быстро превращается в какое-то хлыстовство – и политика, и литература, и даже спорт. Постапмеистские литобъединения Петрограда тоже носили отчасти сектантский характер с образом расстрелянного Гумилева на хоругви.

Сама по себе группа «мозгопашцев» конституировалась после визита (весна-осень 1918 года) Чурилина в Харьков, где он сдружился с Григорием Петниковым и выпустил в его издательстве «Лирень» «Вторую книгу стихов» и написанную еще в 1916 году повесть «Конец Кикапу», развора-

чивающую в крымских, преимущественно караимских кулисах¹¹ орнаментально-мифологические мотивы знаменитого стихотворения. Повесть лежит в русле мифомистической прозы Хлебникова с той разницей, что у Хлебникова всегда ощутимы глобальные концепции, придающие его сочинениям этого рода странную, сновидческую логику и структурированность. Чурилин же строит текст из мифологических туманностей, выплывающих из его эмоциональной сферы. Это не абсурд и не автоматическое письмо, Чурилин всегда имеет что-то в виду, и можно даже понять общее развитие текста – одной из его бесконечных смертных фантазий, но не в форме краткого гениального стихотворения, а в форме потока торжественной и нарядной фонетической прозы. Текст получается в своем роде замечательный по фактуре, но полностью завернутый на внутреннюю, непроясняемую мифологию автора.

По возвращении Чурилина в Крым и образуются упомянутые выше «мозгопашцы» в составе Чурилина, его жены и

¹¹ Что существенно для Чурилина с его постоянно направленным на «еврейское» трагически переживаемым притяжением-отталкиванием. Но здесь он находится с «еврейским» в самых мирных за всю свою жизнь отношениях – с помощью экзотизации и историзации. В общем, повесть любопытная, отдельным изданием она вышла в 2012 г. в издательстве «Умляют». «Агатовый Ага» (1917), очень милый этнопоэтический очерк в тех же бахчисарайских/чужут-калийских кулисах, написан спокойнее, стоит на прозаической фразе, пускай и сильно ритмизованной, а не на стихотворной строке – пока что он опубликован только в вышеупомянутом электронном издании.

их друга Льва Аренса (в качестве теоретика)¹².

В Крыму Чурилин пишет книгу стихов «Льву – Барс» (не вышла, но частично вошла в уже названную «Вторую книгу стихов», выпущенную в Харькове). В этих стихах мы уже в полную силу сталкиваемся с церковнославянизмами (наряду с хлебниковидными неологизмами) и с церковно-служебными интонациями и структурами текста. Вот, к примеру, очень характерное – и даже с любезным моему сердцу звательным падежом – стихотворение:

Весе сна спадшаго,
Граде, дар радости радоницы!
Гремль, младший гром – А ну ницы!
И целуй у лея дождя
Благословенные руки.
И цели у лара вождя
Мироточивыя муки.
Кому, кому, о муко, купать
Упадки в купели липе.
О, падь,
Да возносяйся лепей!

¹² Очень забавен доклад, манифест или трактат Аренса «Слово о полку будетлянском», публикуемый во втором томе указанного издания (Чурилин Т. В. Стихотворения и поэмы: В 2 тт. С. 311–321). Интересен он, среди прочего, отсутствием Маяковского и Бурлюка при наличии Пастернака, Асеева и Каменского в описании офицерского состава будетлянского полка – мы видим здесь очертания внутренних отношений в «левом фронте».

(Утешь исцелительная, апрель 1918)

Если сконцентрироваться на смысле использованных слов, ничего особо непонятного, заумного или абсурдного в этом тексте нет – описывается дождик¹³.

Впрочем, и Хлебников не лишен этой (церковно)славянизмы, да и стихи Маяковского (те, что еще можно называть стихами), кажется, демонстрируют определенное знакомство с церковной службой. Тема религиозно-обрядовых структур в творчестве «левых поэтов» начала XX века и их определенной повернутости (бессознательной?) к архаике начала века XIX (адмирал Шишков, Семен Бобров, Ширинский-Шихматов) требует, вероятно, подробного изучения и обзора. Подчеркну только, чтобы не быть неверно понятым: речь не идет о религиозности и/или, как нынче любят говорить, «воцерковленности» этих поэтов – речь идет об отпечатавшихся в них церковно-служебных структурах текста и лексических воздействиях языка этой службы, чего, например, нет у акмеистов, за исключением, быть может, случайно (точнее, по причинам не литературной, а социальной близости) «примкнувшего к ним» Нарбута. Очевидно, дворянские дети на крылосе не пели.

Разумеется, и в «мозгопашеских» стихах Чурилина мож-

¹³ Это я слегка полемизирую с предисловием Дениса Безносова, вообще-то хорошим, подробным и полезным. Я его обильно использую в смысле фактологии, за что очень благодарен, но с частью посылок и выводов, понятное дело, не согласен.

но найти чудные места (Под вои осени, / Под гром голода, / Забудем как утро русское молодо... «Песнь псов», 1918), но в целом они огорчают откровенно формальным аллитерированием и внешними, а не внутренними фонетическими алгоритмами построения строки. Это уже упомянутые аллитерационные двойчатки (Монах да мох да холм да хомут... «Пустыня», 1918). Очень любопытно, что через сорок примерно лет тот же принцип построения строки на аллитерационных парах обнаруживается в стихах Виктора Сосноры (после его гениальных «Всадников» и выдающихся стихов 1960-х и начала 1970-х годов), продолжателя футуризма, по мнению, например, Лили Брик, чрезвычайно ему покровительствовавшей. Внешний алгоритм построения поэтической строки позволяет при некотором самопослаблении писать стихи, не заглядывая в себя и в язык, что отчасти и произошло – в разных формах, конечно, – и с Чурилиным, и с Соснорой. Для Чурилина эта возможность не заглядывать в себя – помимо всего прочего, облегчение. Облегчение даже не поэтического труда, а самого существования. Внутри Чурилина жила смерть, и почти ничего больше. Уже по разительному сокращению мотива смерти в крымских стихах мы можем судить об их преимущественно внешней, а не внутренней природе.

В 1922 году Чурилин возвращается в Москву, сходится с Асеевым, Бриком, Пастернаком, знакомится с Маяковским, но стихи и прозу писать прекращает. Я подозреваю – в том

числе и из-за того, что его новый метод приносил облегчение, но не приносил удовлетворения. Статьи он, впрочем, писал и, судя по всему, очень забавные (собрали бы их, что ли?). В предисловии Дениса Безносова к двухтомнику Чурилина цитируется неопубликованная статья 1925 года с употребительным названием «Похвала литературной неграмотности – ход к обследованию обращения с художественной литературой»:

...Ликвидируется простая, буквальная азбучная, неграмотность; борются с политнеграмотностью; насаждается грамотность техническая; прививается грамотность художественная. На какой же предмет понадобилось хвалить здесь неграмотность литературную – и еще в год торжественного всесоюзного юбилейного чествования двухста лет Российской академии наук? Оттого и идут наши сборы к похвалению неграмотности литературной, что дело статьи касается литературы художественной. Она, как известно, составляет частный вид вообще искусства. А искусство же <вопреки> распространенной вообще, вкоренившейся крепко во все классы общества традиционной убежденности – никоим образом не наука. Грамотность же – не что иное, как первая низенькая приступочка к величественной вековой лестнице НАУКИ.

Итого: зачем ненауке и грамотность?

Здесь мы наблюдаем характерное непонимание природы

строющейся «социалистической культуры», основанной на интеллигентском мещанстве, уважающем «культуру» в рамках понятного и приемлемого. Это непонимание Чурилин разделяет со всеми «левыми», начинавшими при очень выгодных для себя обстоятельствах: «революционеры культуры» автоматически идентифицировали себя с «революцией общества» (моя революция! – Маяковский; его это непонимание убило, точнее, может быть, позднее понимание). «Левые» довольно быстро проиграли запас статуса «государственных писателей» (к которому, несомненно, стремились) именно из-за своей «антикультурности» – средний партийный интеллигент совсем не понимал, зачем скидывать Пушкина с парохода современности, когда можно его уютно изнасиловать прямо там же, на пароходе. Идея про юных дикарей, не скованных цепями культуры, – из раннесоветского времени, к середине 1920-х годов она перестает быть само собой разумеющимся официозом, в начале 1930-х делается подозрительна (левый уклон), а после Первого съезда писателей (1934) – невозможна. Ну и патроны в партийном начальстве (Троцкий, Каменев, Бухарин...) постепенно перестали приносить пользу и начали становиться причиной уничтожения (это, конечно, касается не только «левых») – в Советской России, как правило, ликвидировали конкурентов в высшем руководстве вместе с их «вертикальными кланами», в том числе и с их клиентурой в разного рода культурных и пропагандистских звеньях. Но это всё относится к «высше-

му слою», к «мастерам» – недостаточно высокое положение писателя повышало в 1930-е годы его безопасность. Вплоть до Большого террора – там уже никакой логики не стало, попасть под колесницу Джаггернаута мог практически каждый.

В 1927 году болезнь Чурилина обостряется, и он попадает примерно на четыре года в Донскую больницу. Еще в больнице он снова начинает писать стихи.

5. «Тебе, народ, хвала от Маркса...»

Вот мы и добрались до интереснейшей проблемы «советских стихов» Чурилина.

По выходе из больницы Тихон Чурилин собрал книгу стихов 1930–1932 годов, которую с явным антонимическим намерением по отношению к тоже послебольничной «Весне после смерти» озаглавил «Жар-Жизнь». Вглядывание в смерть должно было замениться взглядыванием в жизнь. Но никакого взглядывания в жизнь не получилось – оно заменилось предписанным (и явно с облегчением принятым) советским жизнеутверждением. По качеству же стихов «Жар-Жизнь» ни в какой мере не могла конкурировать с опровергаемой «Весной после смерти». В значительной части они пародийно-нелепы и даже могут быть восприняты (несправедливо) как сознательное издевательство, что, вероятно, и

побудило Главлит не разрешить издание:

Двадцать пять китайских коммунистов —
Двадцать пять, да! двадцать пять, да, двадцать пять!
Все висят на ночи, как манисто <скорее всего,
монисто. — О. Ю.>,
Черно-синие и голые до пят...

(Двадцать пять китайских коммунистов...)

В 30-е годы Чурилин пишет советской власти или, точнее, советской идеологии стихи, как капитан Лебядкин писал «аристократическому ребенку» Лизе Тушиной – отчасти упоен отчасти осознаваемой нелепостью. Сами стихи не похожи на стихи Лебядкина, но в них так же, по слову Ходасевича, «двоится поэзия и пошлость»¹⁴, как и в лебядкинских произведениях:

Тебе, страна, хвала от нас,
Тебе, народ, хвала от Маркса.
Пробил, вновь бьет почета час
Горячий, звонкий, цветом маркий!

(Адыгея, новая ода)

Большую часть книги составили «песни разных народов», где Чурилин трансферировал свою футуристическую при-

¹⁴ См.: Ходасевич В. Ф. Поэзия Игната Лебядкина // Он же. Собрание сочинений: В 4 тт. Т. 2: Записная книжка. Статьи о русской поэзии. Литературная критика 1922–1939. М.: Согласие, 1996. С. 194–201.

вычку вводить звуковые словозаменители в псевдо- (изредка и не псевдо-) фольклорные стилизации:

...Э! Э! Э! Э!

ОЭ! ОЭ!

Да, да, дочь, да, да, да.

Пою я под там-там. ОЭ! ОЭ!

(Негритянская колыбельная)

От всех этих песен возникает ощущение переводов с несуществующих подстрочников. В 1970–1980-х годах примерно того же качества, а иногда и технически сходная продукция производилась по полутысяче строк между завтраком и обедом в каком-нибудь Доме творчества на Пицунде или в Комарове («минута – строчка – рубль», по известной формуле Д. С. Самойлова), но здесь это – результат героического и абсолютно нециничного усилия Чурилина «стать, как все», прежде всего по-человечески – окончательно исцелиться от себя, лебедянского «незаконнорождённого, выблядка, жида, Александрыча, у-у-у». Казалось бы, это удалось. Взглянем на две «Еврейские колыбельные», практически открывающие «Жар-Жизнь», – если Чурилин хотел отмщения за свою жизненную историю, то здесь он его получил:

Всех дабуков <sic! – О. Ю.> цадик старый

Очень выдумал некстати.

И не верит мой Май <это убаюкиваемый еврейский

ребенок. – О. Ю.>

Ни во что, баю-бай!!!

(Еврейская колыбельная)

или:

О, верю и знаю: Ленинский век, век.

О, сильный, железный, стальной человек! человек.

О, тихо, как тихо, без синагог, синагог,

Пал устаревший, страшный наш бог! бог.

О, баю еврея, еврейская мать, мать.

О, новую эру счастливая знать! узнать.

(Еврейская)

Еврейское для Чурилина – всегда интимное, близкое к смерти и почти равное ей. Оно маркирует приступы глубочайшей депрессии, но здесь он пытается отдать «октябрю и маю» и это. Будем надеяться, что ему стало легче.

Конечно, на фоне всего этого кошмара изредка появляются и замечательные места и целые стихотворения:

Так падает звезда.

Так светится вода.

И так река рыдает

Что вот, никто не знает...

(Так падает звезда...)

Или двустишие¹⁵:

А то попеть – пропеть на слух: —
Так рано и сладко душит луг...

(А то попеть – пропеть на слух...)

Более чем замечательна и относится к лучшим стихам Чурилина вообще «Песнь об очереди», где элементы фонетической записи оказываются на своем месте в атмосфере индивидуального человеческого отчаяния, вдруг выныривающего из-под лебядкинского жизнеутверждения:

И за водкой черёд
И за хлеб-б-бушкой!
Эза печеньем, стоя, мрет,
За вареньем, с сушкой!!!

Череда д'череда —
Понедельник, среда.
<...>
Очередь, очередь!!!
О черт, с этим – умереть!!!

(Песнь об очереди)

¹⁵ По мнению Натальи Яковлевой (см.: Яковлева Н. Открывая Чурилина. По поводу собрания «Стихотворений и поэм» Тихона Чурилина // Toronto Slavic Quarterly, No. 43. Winter 2013, с. 304, электронный адрес: http://www.utoronto.ca/tsq/43/tsq43_jakovleva.pdf), являющееся не отдельным двустишием, а началом предыдущего стихотворения.

Вообще, там, где у Чурилина пробивается подавляемое, исцеляемое отчаяние, там, где он вглядывается во мрак, по-прежнему клубящийся в его сознании где-то внизу, под бетоном «жизнеутверждения», сразу же оказывается, что талант никуда не делся. Тут стоило бы отметить «Гравюру на вечере» (1933), «Оду прошедшему человеку» (1933) с ее, оказывается, не изжитыми еврейскими смертными мотивами и блоковской орфографией («Жолты щёки; рябы: дробь. / И сертук мой жирный, чорный, / Весь точь-в-точь, еврейский гроб. / – Я прошедший человек...» – это уже не из «Жар-Жизни», а из отдельных стихотворений 1930-х годов). Да хотя бы и мрачное «Гей, бабьё, в зипунах и сермяге...». Словом, стихи Чурилина этого периода следует внимательно читать, не смущаясь «хвалою от Маркса», – время от времени дар, большой дар, блистательно прорывается, хотя необходимо сказать, что некоторое существенное ритмическое обеднение всё же произошло: трехчленное строение строки и в хороших стихах заменяется преимущественно двухчленным, а иногда и вообще бесчленным. То есть отчасти Чурилин пишет на чужом дыхании.

Следует, однако же, подчеркнуть, что никакого перехода к соцреализму в техническом смысле, никакой «поэтики советской эпохи», о чем часто говорят применительно к стихам этого времени, ни в переводах с несуществующего подстрочника, ни в пересказах газетных статей, ни тем более в настоящих стихах – не произошло. Вполне возможно, что

не от отсутствия желания автора, а по физической, физиологической природе его звуко- и ритмоизвлечения. Проще говоря: у него не получилось. Еще проще: стихи Чурилина 1930-х годов или значительно хуже, или значительно лучше дозволяемого и поощряемого. Интересна определенная параллельность с Мандельштамом того же времени. Взглянем на чурилинское стихотворение 1935 года, вошедшее в книгу «Стихи», почти вышедшую в 1940 году. Очевидно, по сигнальному экземпляру она была раздраконена критиком Дымшицем¹⁶, чутко отказавшим Чурилину в какой-либо близости к соцреализму и вообще к жизни – подтверждение вышесказанного с другой, с их стороны (для Чурилина, однако, это была своя, наша сторона). Книга в продажу не поступила. Но вернемся к стихотворению:

По линии и по бокам бульвара
Чернеют жирные весною тротуары.

По линии, на середине всех бульваров,
Сияет снег в пушистых шароварах.

Зима – зима, зима – сама! сияет.
Весна – весна! Кричу сполна и я ей!

Земля жирна, колхозный сев начался,
И от усталости сам трактор закачался.

¹⁶ Дымшиц А. Л. Перепутаница // Ленинград. 1941. № 1. С. 22–23.

Мария Демченко за книгой тоже знает —
Сияет в севе родина родная!

И Кривонос на паровозе мчится,
С боков к нему всеобщий сев стучится.

И в кочегарах сам апрель лопатой
Шурует уголь, жирный и богатый.

Эх, жир весны, земли, асфальта, угля,
Какой ты теплый! Славный! Свежий! Смуглый!

(По линии и по бокам бульвара...)

Не напоминает ли оно в известном смысле стихотворение
Мандельштама «Чернозем» из «Воронежских стихов» — и
тоже 1935 года:

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст.
Черноречивое молчание в работе...

Когда-то я уже обращал внимание просвещенной публи-
ки¹⁷ на то, что «Чернозем» есть, в сущности, «стихи на сель-

¹⁷ Юрьев О. А. Осип Мандельштам: Параллельно-перпендикулярное десяти-
летие // Он же. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2013.

хозтематику» – на начало пахоты и едва ли не без прицела на местную газетку. Воображаю, как рад был газеткин редактор, коли так! Но не поразительно ли это совпадение мотивов жирной земли и начала сельхозработ у обоих поэтов? Конечно, у Мандельштама звук глубже, образная и дыхательная логика стиха полностью отрезает ему путь в воронежскую газету. Чурилинские стихи неплохи, особенно в начале, «пушистые шаровары» снега вообще прекрасны, но даже поименование разного рода стахановок и стахановцев вряд ли бы кого-то убедило, что это «советские стихи». Они никак не попадают в постоянно сужающийся «коридор возможного».

6. (Само)исцеленный

В юности я был бы, вероятно, очень огорчен описанным развитием поэзии Чурилина. Сейчас же не уверен, что даже малейшее облегчение человеческих страданий не стоит отказа, точнее, излечения от гениальности, и пусть это излечение происходит с помощью очень сомнительных и/или очень нелепых средств.

Лучше живой Лебядкин, чем мертвый лебедь?

Да, наверно... На всякий случай напомним, что «Лебядкиным» я называю Чурилина не в «достоевском», а в обозначенном этой статьей очень специальном смысле – самозаб-

венно влюбленного в «новую жизнь» и не чурающегося никакой нелепицы воспевателя.

При всех периодических обострениях душевной болезни, всё же, по-видимому, можно сказать, что в 1930-е годы Чурилин получил значительное облегчение и успокоение. Вот что пишет Анастасия Цветаева в отдельном очерке «О Тихоне Чурилине», в значительной степени не совпадающем с текстом «Воспоминаний»¹⁸:

... Уже после Марининого отъезда за границу я вновь встретила в Москве с Тихоном Чурилиным. Как же изменилась его судьба! Вместо нищего, заброшенного поэта, вышедшего из клиники, я увидела человека в его стихии: его уважали, печатали, он где-то числился, жил с женой в двух больших комнатах, кому-то звонил по делу...

Мнение комментатора, что всё это приписано ради публикации в советское время, не кажется мне обоснованным: ничего особо «цензурного» в очерке не наблюдается, никаких особых заслуг советской власти в улучшении состояния Чурилина не отмечается, скорее уж можно говорить о заслугах его жены, художницы Брониславы Корвин-Каменской. Я бы скорее говорил о непосредственном впечатлении Ана-

¹⁸ Цветаева А. И. О Тихоне Чурилине // Чурилин Т. В. Конец Кикапу. Агатовый Ага: повести / Коммент. С. Шаргородского. Б/м: Salamandra P.V.V., 2013. С. 59–61.

стасии Цветаевой от человека, вылечившегося от гениальности – из несчастного гения сделавшегося относительно ненесчастливым негением. Может быть, именно из-за жестокости – с «цветаевской» точки зрения! – этого впечатления и пропало оно из постсоветского издания «Воспоминаний». Но скорее всего, текст перерабатывался для отдельной публикации и просто требовал иной структуры, чем фрагмент последовательно хронологических воспоминаний – он требовал биографической закругленности. Кстати, при чурилинских обострениях А. И. Цветаева приходила с ним сидеть, чтобы дать возможность Бронке (домашнее имя Брониславы Корвин-Каменской) сбегать по делам и за продуктами.

Когда Бронка умерла (10 октября 1944 года), Чурилин больше не смог и не захотел бороться за жизнь. Болезнь его обострилась в последний раз. 28 февраля 1946 года Тихон Васильевич Чурилин умирает в московской психиатрической больнице им. Ганнушкина.

7. И последнее

Значение Тихона Чурилина не только в некотором количестве великих и замечательных стихов, которые он написал. Хотя это само по себе обеспечило бы смысл любой жизни.

Но у этой жизни есть и иной смысл. На примере Чурилина – и именно потому, что он психически нездоровый человек

и всё должен выводить на поверхность, чтобы не быть уничтоженным, — мы видим наглядно, как функционирует переработка сознания советской реальностью. Собственно, эта переработка являлась объявленной целью социалистической культуры, но происходила менее в результате тех или иных направленных действий идеологических органов, а более по общей логике тотальной общественной реальности, манифестировавшей себя в качестве единственной жизни. Всё прочее (нищета, разбой, холод, голод, не говоря уже об арестах и ссылках) объявлялось несущественным, как смерть при научном материализме — зареальной частью реальности. Чурилин, во внутреннем мире которого существовала одна-единственная оппозиция — «смерть (реальная) — жизнь (нереальная)», честно старался ее перевернуть, обеспечить победу «жизни», и до поры до времени даже с кое-какими успехами.

Но ведь эту же попытку «встать на сторону жизни» мы наблюдаем — с большим количеством тонкостей и извивов, конечно, — на судьбах очень многих: и Мандельштама, и Пастернака, и Заболоцкого... Известная простота случая Чурилина, вероятно, позволит нам лучше понять более запутанные случаи.

Словом, не зря я ждал двадцать лет. Получил, конечно, не совсем то, чего ожидал. Но в жизни всегда так бывает. Пока не знаю, как в смерти. Похоже, тоже.

Буратино русской поэзии: Сергей Нельдихен в Стране Дураков

1. Немного о Нельдихене, 1891 г. р., русском, из интеллигентов

Свершилось! Дожили, не иначе, до морковкина заговенья: Главдурак русской поэзии снова с нами! Не зря, видно, Сергей Евгеньевич Нельдихен (1891–1942), русский, из интеллигентов, до революции – студент, хаживал, говорят, с этой, я бы сказал грубо, морковой в нагрудном кармане пиджака на заседания петроградского литобъединения «Звучащая раковина»! А не домой и не на суп, как удачно выразился Главпоэт советской эпохи.

Итак, московское издательство ОГИ выпустило толстенный том¹⁹, содержащий, помимо собственных литературных и административных, так сказать, сочинений Нельдихена (автобиографии, анкеты, отрывки из писем...), множество секундарных материалов – цитат, упоминаний, воспоминаний, отзывов и т. п. Речь идет об утвердившемся в этом из-

¹⁹ Нельдихен С. Е. Органное многоголосье / Сост., подгот. текстов, примеч. и подбор иллюстраций Максима Амелина; Вступит. ст. Данилы Давыдова. М.: ОГИ, 2013. Все дальнейшие цитаты из произведений Нельдихена и упоминания или описания этих произведений опираются на это издание.

дательстве формате своего рода базовой библиотеки в одном томе, позволяющей получить под одной обложкой и текст, и контекст. Идеальным изданием этого типа было «Всё» Введенского, подготовленное Анной Герасимовой²⁰. Нельдихен – туда же, на ту же полку. Разумеется, я не сравниваю литературного значения Нельдихена со значением Введенского или Вагинова (выпущенного там же и тем же способом²¹); Нельдихен интересен, поучителен, забавен, Нельдихен, несомненно, исторически важен, у него, несомненно, есть хорошие и даже очень хорошие стихи. Введенский и Вагинов – великие русские поэты.

Сергей Нельдихен-Ауслендер²² родился в Таганроге, в семье отставного генерала по медицинской части: «...Отец мой садился рядом со мною, рассказывал неинтересное. О каких-то своих турецких походах...» – из самого, пожалуй, удачного его сочинения, «поэморомана» «Праздник (Илья

²⁰ Введенский А. И. Всё / Сост. А. Герасимовой. М.: ОГИ, 2010.

²¹ Вагинов К. К. Песня слов / Сост., подгот. текста, вступит. ст. и примеч. А. Герасимовой. М.: ОГИ, 2012.

²² Ауслендера откинул, входя в литературную жизнь, вероятно, чтобы не смешивали с писателем Сергеем Ауслендером, племянником Михаила Кузмина. Кстати (само по себе совершенно неважно, но для колорита), все известные мне Ауслендеры были евреями – и отец племянника Кузмина, и черновицкая поэтесса Роза Ауслендер. Ничего не утверждаю, но вполне возможно, что бывший начальник тифлисского лазарета происходил из крещеных евреев, как и бывший жандармский полковник Вагенгейм (установлено Алексеем Дмитренко, см. соответствующую статью в вышеобозначенном издании Вагинова).

Радалет)»).

Учился в военном училище, закончил Харьковский университет по физико-математическому (?) отделению, был на войне, совершил «самострел», позже служил «лейтенантом» на Балтфлоте. Впрочем, к сведениям, почерпнутым из нельдихенских сочинений и официальных анкет, следует относиться со всевозможной осторожностью – это очевидно уже на простом сравнении вышесказанного с данными анкеты, вынесенными в заголовок настоящей главки: отставные генералы по раннесоветским понятиям «интеллигентами» никак не являются!

Во всяком случае, в 1918 году Нельдихен появляется в Петербурге и в кругу Гумилева. Первая его книжечка, «Ось» (1919, напечатана, но, кажется, не поступила в продажу), написана типичными пост- и околоакмеистическими стихами, частично не очень уклюжими, но с приятными неожиданностями в темах и поворотах. Открывающий ее стихотворный наскок на Ульянова-Ленина (Нельдихен дразнит его «калмыком», как позже Мандельштам дразнил Сталина-Джугашвили «осетином»), сделался даже отчасти знаменит среди молодых петроградских поэтов. А когда, в результате знакомства с Корнеем Чуковским и его переводами из Уитмена, Нельдихен перешел на «свободный» стих, называемый им также «уитменовским» и «библейским», на время заинтриговалась и старшая литературная публика.

Тут и встряслась легендарная история с его приемом в Цех

поэтов и предваряющей речью Гумилева: «Все великие поэты мира, существовавшие до сих пор, были умнейшими людьми своего времени. <...> Но вот явилось чудо, – явился Нельдихен – поэт-дурак. И создал новую поэзию, до него неведомую – поэзию дураков...»²³

2. Немного о дураках

Конечно, мы не станем обсуждать личную глупость или неглупость С. Е. Нельдихена – она нас так и так не касается, да и нет у нас определений, позволяющих использовать это понятие формализованным образом. По моему личному, вполне необязательному ощущению, дураком Нельдихен не был, не был и Аристотелем – был совершенно нормальным молодым человеком своего времени с совершенно нормальными умственными способностями. Несколько деревянным, быть может, – эдакий богемный Буратино, вечно стремящийся в обетованную землю со специально оборудованным под него театром и вечно попадающий в Страну Дураков. И конечно же, был он чудовищно запутан и раскоординирован обрушением мира, в котором родился и вырос. Пережившие обрушение советской цивилизации хорошо знают этот феномен – куда бежать, что делать, что и как говорить? Не полагается ли говорить о себе то, о чем в «цивилизованные време-

²³ Цит. с выпусками: по указ. изданию (с. 417–418). Источник: Чуковский Н. К. Николай Гумилев / Н. Чуковский. Литературные воспоминания. М., 1989.

на» полагалось умалчивать? – все правила отменены и введены новые, практически неизвестные, можно вроде бы всё, но с неизвестными последствиями, иногда роковыми, почему жители большей частью и кажутся (себе тоже) идиотами. Не иначе было после октябрьского переворота.

Нельдихен, навеки уязвленный речью Гумилева (которого, кстати, описал хорошо и пластично в одной из своих попыток воспоминаний), всю жизнь размышлял об уме и глупости. Ему ничего не оставалось, как напирать на то, что это, дескать, не он, не автор, дурак, а его герой:

Поэт прочел стихи о носе, о воришке,
Недобродетельную бросил мысль —
И заглянули все в лицо поэта
Прочел прозаик —
Никто его воришкой не назвал.
Он может высказать всё, что захочет,
От имени героя своего рассказа, —
И лично к автору никто не придерется.
Легко прозаику!

(Поэт и прозаик)

Кстати, иногда, по ходу этого постоянного и, вероятно, мучительного размышления над феноменом глупости – литературной глупости и глупости вообще, – вдруг возникают у Нельдихена пронзительные проникновения в суть вещей: «Рубить сук, на котором сам сидишь, – это даже не глупость,

а естественная потребность интеллигента».

Впрочем, обсуждать глупость «лирического героя» мы тоже не станем. Надо еще доказать, что таковой у Нельдихена имеется. При исчезающе малом расстоянии от реального человека до говорящего «я» в стихах Нельдихена – собственно, во всех стихах Нельдихена, а не только в нескольких знаменитых! – лично я бы не взялся их разделять. О «масочности» же, о какой-то «дурацкой машкере», говорить в данном случае и вовсе не приходится. «Маска» – это, например, Козьма Прутков, поэт-персонаж, далеко отстоящий от своих создателей. Нельдихен говорящего персонажа не создает и себя превратить в персонажа отнюдь не стремится, более чем бережно относясь к своей авторской персоне.

Но оставим это: в конечном итоге дело вовсе не в том, кто глуп, автор, лирический герой или маска, а в том, что это за глупость!

Глупость в стихах Нельдихена – не личная, а культурно-коллективная: легкая арцыбашевщина, помноженная на будем-как-солнце и я-гений-игорь-северянин. Речь идет о типе человека, созданном бытовым декадентством первых двух десятилетий XX века с его восторженным эротизмом и культом исключительной личности²⁴. Если бы обнаружили

²⁴ Это, собственно, родовая мета бытового декадентства. В. И. Шубинский в своей статье «Дурацкая Машкера» (http://www.newkamera.de/nkr/zametki_08.html) цитирует письмо Брюсова Льву Толстому: «Меня не удивило, что Вы не упомянули моего имени в длинном списке Ваших предшественников, потому что несомненно Вы и не знали моих воззрений на искусство. Между тем

совсем ранние стихи Нельдихена, то они были бы «под Северянина» (хотя сам он утверждал, что они были «под Надсона»), почему-то мне так кажется. Это глупость почти что уже почетная, породистая. Кое-кто из участников Цеха и сам через нее прошел (возьмем хоть Георгия Иванова, начинавшего с эгофутуристами).

Соединим Северянина, не столько в его словообразовательных формах, сколько в саморекламной позиции маленького невзрачного человека, объявляющего себя «учителем человечества», солнечным богом и т. п., с торжественными антикизирующими или библеизирующими ритмами и сложносоставными словами, как бы псевдогрецизмами, и мы с ходу получим Нельдихена эпохи его короткой славы.

Следует, однако, понимать «литературно-бытовую» реальность гумилевского высказывания. Оно было бы колоссальным комплиментом – дураков-то на свете много, но в первый раз в истории человечества (!!!) дурак пишет хоро-

именно я должен был занять в этом списке первое место, потому что мои взгляды почти буквально совпадают с Вашими. <...> Вам легко поправить свою невольную ошибку, сделавши примечание ко второй половине статьи, или к ее отдельному изданию, или, наконец, особым письмом в газетах» и справедливо отмечает, что Брюсов был человек неглупый и довольно корректный, а тут сморозил... Вера в массивированную саморекламу возникла вместе с массовой рекламой как таковой. С конца XIX в., и, понятно, не только в России, начинающие литераторы, кто поглупей, сделались убеждены, что многократное говорение мантры «я-гений-игорь-северянин» вознесет их на «пьедестал» хотя бы на время. И в целом не ошибались.

шие стихи! – если бы речь не шла о типичной «телеге», «прогнанной» по случаю театрализованного приема нашего героя в Цех поэтов. Думаю, заподозри Гумилев хотя бы на мгновение, что эпизод этот с легкой руки недавно осевшего в Петрограде и лишенного всякого чувства юмора Ходасевича²⁵ пойдет гулять по белу свету, он бы раз десять еще подумал, прежде чем высказаться таким образом: в стране, несколько лет валявшейся в пыли под ногами Игоря Северянина²⁶ и учившей наизусть его поэзы (у которых не отнимешь ни поэтических достоинств, ни тяжелой безвкусицы и полной ерундовости), говорить о каком-то открытии Нельдихеном поэзии, отражающей «мир дураков», было, конечно, смешно. Оно и должно было быть смешно. И даже... не побоюсь этого слова: глупо.

Однако же высказывание Гумилева, как это иногда происходит с высказываниями, ложными по своему непосредственному приложению, но проявляющими некую произвольную зоркость, оказалось своего рода прорицанием. И да-

²⁵ А когда Ходасевич спросил его, зачем он так зло шутит, что должен был Гумилев на это ответить? Что да, шутит, устраивает слегка ернические церемонии в целях собственного и учеников своих развлечения в голодные и холодные времена? Мне кажется, психологически это совершенно невозможно. Ходасевич, воспитанник московских символистов, вообще плохо понимал тон петербургского литератураторного общения.

²⁶ Не говоря уже о Бальмонте, чье двустипийное «Но мерзок сердцу облик идиота, / И глупости я не могу понять...» Гумилев лукаво цитировал. Бальмонт был талантливый поэт с большими заслугами, но многие его стихи неумны почти до слабоумия.

же двойным прорицанием. К Нельдихену оно имеет скорее опосредованное отношение, но, на мой взгляд, само по себе очень интересно.

3. Двойное прорицание Гумилева (отступление)

Во-первых, это прорицание о советской литературе. Советская литература есть литература принципиальной ограниченности, которая, как известно, является одним из словарных синонимов глупости. Эта литература заранее отсекает ²⁷ определенные возможности, ходы и представления, недоступные с ее точки зрения или «вредные» для ее читателя, и существует таким образом в принципиально ограниченном мире. Она отражает (и порождает, вероятно) человеческий тип, выведенный советской цивилизацией. В различных вариантах он сохранился до конца советской эпохи и вполне ее пережил (...еще плодоносить способно creatively...). Но в рамках собственно «советского периода», вне зависимости от личных версификационных дарований и «политической составляющей», тип этот является преобладаю-

²⁷ Ей отсекают, а она соглашается с отсечением и сама научается себе отсекасть, и не единственно потому, что желает публиковаться, ездить в дома творчества и получать заказы в столе заказов «для писателей», но и потому, что верит, что «служит народу», для которого-де ее обрезки и огрызки лучше, чем ничего. И верит в конце концов в правоту отсечения – «слишком сложное» «народ» не поймет, а для него же мы и пишем, не для себя же...

щим для подцензурной литературы. Советская литература, взятая в исторической развертке как общественно-культурное явление, и есть литература (для) «большинства человечества», по выражению Гумилева – литература (для) дураков. Кающийся интеллигент Олеша мог бы провозгласить это как определение социалистического реализма на Первом съезде писателей. Но не стал. Не так был глуп.

Вторым, альтернативным прорицанием Гумилева можно считать предсказание Олейникова, который и точно работал с «миром дураков», хотя, конечно, не изнутри, как его полноправный участник (был, как известно, умен и зол, как змей!), а снаружи, но отнюдь и не в смысле простой масочности и стихового сказа, как считала Л. Я. Гинзбург, а гораздо сложнее: как с образным и риторическим средством.

Поздний Олейников с его торжественными ритмами, Олейников, наконец-то поверивший в собственную поэзию («Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, / Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков...»), действительно бывает интонационно похож на Нельдихена («Женщины, двухполовинойаршинные куклы, / Хохочущие, бугристотелые, / Мягкогубые, прозрачноглазые, каштанововолосые. <...> О как волнуют меня такие женщины!»).

Конечно, не приходится сомневаться, что и Олейников, и Заболоцкий (которому вдобавок приходилось бороться с сидевшим в нем «Карлушей Миллером», автором-персонажем

прутковского типа) знали основные стихи Нельдихена и не могли их не знать. Введенский и Липавский, по свидетельству Якова Друскина, с ним одно время дружили. Но мало ли кто их знал, эти стихи? – в Ленинграде, вероятно, все литературные люди. О Нельдихене вообще не стоит говорить как о «забытом поэте» (вплоть и до нашего времени – все, кому он был нужен, его знали) – скорее, как о неотрефлексированном поэте – поэте, с самого начала не введенном в общую историческую систему русской поэзии (поскольку его сначала ввели в компанию Гомеров и Дантов, а потом выбросили, как сломанную деревянную игрушку). Речь, однако, ни в коем случае не идет о каком-то «влиянии» – речь идет о сходстве, возникающем из типологически сходных речевых обстоятельствах.

Конечно, в восприятии Олейникова знаменитая статья Л. Я. Гинзбург²⁸, апострофировавшая его как «борца с мещанством», переигравшего в стихи галантерейный язык Зощенко, сыграла почти такую же роковую роль, как шутка Гумилева в судьбе Нельдихена. Зачем Олейникову в непечатающихся, не предназначенных для печати и непечатных стихах бороться с мещанской стихией? Он «боролся» со своими друзьями – гениями.

Интересно, однако, несколько ближе рассмотреть упомя-

²⁸ Гинзбург Л. Я. Николай Олейников // Олейников Н. М. Стихотворения и поэмы / Вступит. ст. Л. Я. Гинзбург. Биогр. очерк, сост., подгот. текста и примеч. А. Н. Олейникова. СПб.: Академический проект, 2000 (Новая Библиотека поэта).

нудное типологическое сходство позднего Олейникова и раннего Нельдихена. Речь, в сущности, идет о выведении на поверхность всё того же среднего человека эпохи Северянина и Арцыбашева (но и Мариенгофа или Туфанова). Нельдихен выводит его напрямую, да он и сам им является. Ранний Олейников пародирует своих оберинутских друзей, которые в свой черед осмеивают (в смысле высокой пародии) «театр символизма», оставаясь при этом его плотью и кровью, то есть он пародирует пародию. Один из методов этой оберинутской высокой пародии – деперсонализация, исключение или выведение на край зрения собственного «я»: возвышенность и значительность символизма провисают и обвисают, как платье на шестке, и оказываются нервно-веселящей высокопарностью и трагикомическим безумием. Но Олейников упорно тыкал Хармса, Введенского (в большей степени), Заболоцкого (в меньшей) в то, что остается по отстранении собственной личности и полного сдутья и оседания «символов»: на виду остается предреволюционный, он же раннесоветский хам, пошляк и графоман²⁹. Олейниковские длинные эпиграммы – корректив и комментарий обе-

²⁹ Ср.: «Птичка скачет, птичка вьется / Под названием скворца, / Из уст сладка песня льется / На унылые сердца...» (Л. Лундин. «Вестник весны», цит. по чрезвычайно богатой и интересной по материалу статье Олега Лекманова «Русская поэзия в 1913 году (1-я часть)» // Новое литературное обозрение, № 119, 2013, с. 147). На этом маленьком примере мы видим заодно, что в источники Олейникова не стоит записывать то одного, то другого «несправедливо забытого стихотворца», как это нынче любят – его непосредственные источники, по крайней мере в первом периоде его стихописания, – справедливо забытые стихотворцы.

риутского театра, они как бы говорят: это всё есть и в вас, и в нас, как ни меняй фамилии.

«Перемена фамилии» – главный документ этой возвратной персонализации обериутского мироздания³⁰. Ответ на него – в «Старухе» Хармса с ее, впрочем, очень мягкой, карикатурой на карикатуриста (считается, что сардонический друг рассказчика Сакердон Михайлович – это Олейников). Здесь демонстрируется собственный, не отраженный из «старой культуры» мистический потенциал убогого советского быта. Хармс как бы говорит: надо дойти до самого дна и толкнуться вверх. Олейников уже ничего не может ответить: он расстрелян в 1938 году.

Поздний Олейников снимает один уровень пародии, обращается через голову Хармса, Введенского и Заболоцкого непосредственно к маргинально-символистскому человеку (в себе) – и «автоматически» время от времени приходит к нельдихеновской торжественности. Но нельзя, конечно, сравнивать качество этих стихов – у Нельдихена надо выискивать замечательные речевые образы (они есть – те же «прозрачноглазые, каштанововолосые, носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги» женщины), у большого поэта Олейникова всё соткано из драгоценной ткани. Да и уровень литературной и философской проблема-

³⁰ «Пойду я в контору „Известий“, / Внесу восемнадцать рублей / И там навсегда распрощаюсь / С фамилией прежней моей. // Козловым я был Александром, / А больше им быть не хочу. / Зовите Орловым Никандром, / За это я деньги плачу...» (1934).

тики, на котором происходило внутреннее общение в кругу «чинарей», был Нельдихену недоступен – мир его, конечно, не является «миром дурака», но как мир «нормального» человека (пусть с чудачествами) его все-таки можно обозначить. В этом нет ничего обидного, собственно, так можно обозначить и поэтический мир Гумилева (несмотря на всю его экзотику), и Ходасевича, и Пастернака. «Чинари» были совсем особой общностью, существовавшей на совсем особом дискурсивном уровне.

4. Судьба дурака

Возможно, неудача литературной судьбы Нельдихена ³¹ в первую голову связана с неудачным выбором компании, хотя на фоне первых оглушительных успехов поверить в это было трудно. Но пожалуй, у него и выбора не было: акмеистский круг с самого начала был в значительной степени кругом дворянских детей, родом из «военной интеллигенции» или из обедневших помещичьих родов, что, разумеется, не означало невозможности быть принятым в него... – ну хотя бы для купеческого сына Мандельштама. Нельдихен был естественно, по воспитанию, по хабитусу за рамками своих

³¹ Я не имею в виду отсутствие советских литуспехов – само по себе это скорее о нем хорошо говорит. Я имею в виду его сомнительную и постепенно исчезающую литературную репутацию.

несколько деревянных чудачеств³², «социально близок», что бы он там ни писал. И его к ним тянуло. Но Буратино нашел себе не тот театр. Ему бы сдружиться с выступившими на завоевание мира провинциалами-футуристами, но за теми еще надо было ехать в тарабарскую столицу – петроградский футуризм почти что прекратился, поскольку перебрался в Москву вслед за перепуганным большевицким³³ начальством, умчавшим от Юденича, как наскипидаренное. У футуристов был инстинкт власти и успеха, у кроткого Нельдихена почти полностью отсутствовавший.

Позже, с гибелью Гумилева и постепенным распадом гумилевского круга, Нельдихен пытается найти себе новую компанию, выступает с имажинистами и тому подобными группами, основанными на стратегии «-изма», но невозможно было сделать карьеру среди (в среде) Мариенгофов и Шершеневичей, которые в смысле торжествующей глупости еще и фору ему могли бы дать (снова подчеркну: и здесь я не о личном уме или глупости названных, речь идет только о текстах)³⁴. Да и не нуждались они в Нельдихене, у них, как,

³² Вроде упомянутой морковки в кармане или подачи объявления в газеты об утере чемодана с рукописями, которого никогда не существовало, – для рекламы, как он объяснял.

³³ Это не для вящей противности. Просто-напросто в русском языке не существует слова «большеви́ст» (в отличие, скажем, от немецкого), а слово «больше-вик» существует. Как-то это дико – производить прилагательные от несуществующих существительных.

³⁴ Преимущественно в стихах; проза Мариенгофа – особая статья, нашедшая

впрочем, и у футуристов-лефовцев или конструктивистов, были свои фельдмаршалы и свои генералы. С пехотой вот было плохонько, но на эту роль он никак не годился — г-н поручик всегда шагал не в ногу. Его уже сравнивали с Гомером, Пушкиным и Данте, мог ли он умалиться пред Маяковскими, Есениными и Сельвинскими, не говоря уже о Крученых, Мариенгофах и Чичериных?

Попытался придумать себе собственный «-изм» — что вполне нормально для начала 1920-х годов, но в 1929 году, когда вышли «Основы литературного синтетизма», было уже неуместно по времени (или несвоевременно по месту) и могло лишь насмешить слуг тарабарского короля, пардон, «победившего пролетариата». Но проблема «синтетизма» не только в этом и даже не в его титанической ерундовости, а в том, что у Нельдихена не было под него товарищей, не говоря уже о последователях. Все, кого он по-человечески, по реакциям и отношениям понимал, и все, кто понимал его, Бурадино, сбежавшего от таганрогского папы Карло в генеральских погонах, погибли или уехали за границу, или совсем переменились. Или замкнулись в частном кругу, куда ему не было хода. А без этого человеческого взаимопонимания никакие литературные движения и даже группки и школки не образуются. Что ж ему оставалось? Жить как умеет. Умел

свою вершину в малоизвестном и более чем замечательном романе «Екатерина». Любопытно, что закончил он афоризмами, в каком-то особом сочетании чуши и глубины недалеко ушедшими от афоризмов Нельдихена.

он плохо. В сущности, и не жил, жизнь его осталась там, в нескольких годах его величайшего успеха и величайшего оскорбления. Не жил, а строил прожекты и надеялся. Грустный, милый, несчастный деревянный человечек в стране литературных бульдогов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.